Галина Якунина

ВАСИЛИЙ БЕСКОНВОЙНЫЙ
(перечитывая В. Шукшина)

И зацепило же его это звонкое иноземное слово – «интеллигент»!

Возможно, причина в том, что, обрусев и укоренившись в русском языке, оно обрело совершенно особое значение, которое сам Шукшин довёл до классической завершённости: **«Интеллигент – это мудрость и совестливость, а также способность сострадать чужим страданиям. Это горький мучительный талант. Это, очевидно, и сдержанность, и тактичность. Это неспокойная совесть, ум. Полное отсутствие голоса, когда требуется подпеть могучему басу сильного мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса «Что есть правда?», гордость и… сострадание судьбе народа. Неизбежное, мучительное. Если всё это есть в одном человеке – он интеллигент».**

Себя он, конечно, интеллигентом не называл. И, наверное, правы будут те, кто скажет, что Василий Макарович к интеллигентам никогда себя и не причислял – даже мысленно. Но почему в течение всей жизни он возвращался к этому слову в рассказах и романах, фильмах и статьях? Почему так часто произносили его с разными интонациями шукшинские герои – настоящие и бывшие «сельские жители»? Почему, читая том за томом его собрание сочинений, укрепляешься в чувстве, что стать интеллигентом было для Василия Шукшина важнее, чем писателем, актёром и режиссёром?

*Слово **«ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ»** появилось в русском языке вскоре после отмены крепостного права. В словаре Владимира Даля оно имеет значение собирательное: это «разумная, образованная, умственно развитая часть жителей». Зато однокоренное слово «**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ**» трактуется любопытнейшим образом: «духовный, разумный, умственный; противопоставление – вещественный, плотский, чувственный». Сравним с исходным значением латинского intellectualis – «умственный, исходящий от разума, рассудочный, относящийся к психической жизни человека». Именно последнее определение становится первостепенным в русском словаре. Причём, тяжёлый причастный оборот заменяется одним-единственным словом «духовный»: учёная латынь безропотно уступает место воздушной древнегреческой Психее, олицетворению человеческой души. Как видим, русский язык полтора столетия назад не просто вобрал в себя иноземную лексему – он её одухотворил.*

Впоследствии интеллигентность станут определять совокупностью качеств, привитых образованием и воспитанием: любовью к книге, вежливостью, опрятностью, интересом к культуре и так далее. Забывая при этом упомянуть главное: способность интеллигентного человека к духовной

эволюции, самотворению. Именно этой способностью в высшей степени обладал Шукшин.

Экзамен

«Мне везло на умных и добрых людей» – его признание говорит о многом. Союз ума и доброты окрыляет душу человека, сообщая ей сокровенную силу, свет и свободу мудрости.

О том, какую роль сыграл в судьбе будущего писателя режиссёр Михаил Ильич Ромм, написано много. **«К счастью моему, я попал учиться в мастерскую очень интересного человека, человека глубокого ума. Интеллигента… Я его с благодарностью вспоминаю всю жизнь»,** – скажет Василий Макарович в одном из последних интервью. А первая их встреча на вступительном экзамене во ВГИКе произведёт неизгладимое впечатление не только на абитуриента-сибиряка, но и на всех, кто был её свидетелем.

Вспоминает режиссёр **Александр Митта**, однокурсник Шукшина (воспоминания в настоящей статье приводятся по книге «Звёздные трагедии: загадки судьбы и гибели»): «*На экзамене Ромм ему говорит: «Ну, расскажите, как себя чувствовал Пьер Безухов в Бородинском сражении». Шукшин отвечает: «Я это не читал. Очень толстая книжка, руки не доходят». Ромм нахмурился: «Вы что же, толстых книжек совсем не читаете?» Шукшин говорит: «Нет, одну прочёл. „Мартин Иден“. Очень понравилась». Ромм сказал: «Какой же вы директор школы, вы некультурный человек. Нет, вы не можете быть режиссёром». И тут вдруг Шукшин стал на него кричать: «А вы знаете, что такое директор школы? Дрова к зиме у председателя сперва выбей, потом вывези да наколи, чтоб детишки не мёрзли. Учебники раздобудь, парты почини, керосину добудь, учителей размести. А машина – с хвостом на четырёх копытах, и ту в колхозе не выпросишь. Где шагом, где бегом, грязь – во… Где уж тут книжки читать!» Вгиковские бабки были счастливы – нагрубил Ромму, сейчас его выгонят. А Ромм заявил: «Только очень талантливый человек может иметь такие нетрадиционные взгляды. Я ставлю ему пятёрку».*

Рассказ «Экзамен» родится шесть лет спустя, когда Шукшин уже окончит ВГИК. Это раннее произведение, одно из немногих, будет включено им в «Избранное».

Автобиографичный сюжет претерпит существенные изменения: абитуриент превратится в студента-заочника, бывшего фронтовика. Ему достанется экзаменационный билет не по «Войне и миру», а по «Слову о полку Игореве». Разговор в аудитории состоится без свидетелей, и в конце его профессор подарит заочнику «Слово о полку», а «неуд» всё-таки влепит. Но главный нерв рассказа – в непростом, временами неловком и вместе с тем доверительном диалоге героев. Студент признается, что был в плену, бежал, и поэтому чувства пленного князя Игоря ему понятны. А профессор,

отвечая откровенностью на откровенность, поведает заочнику, как в Киеве, на Подоле, глядя с былинной высоты в синеву и даль, почувствовал, что он уже бывал здесь когда-то… «не в своей жизни даже, а давным-давно».

– Я в плену не был, даже не воевал никогда. Но там, над Подолом, я каким-то образом постигал всё, что относится к войне. Наша страна много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, всё равно живёт теми же чувствами… Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому.

Кто произносит этот монолог с ощутимым налётом мистики – профессор, или сам Шукшин, «подранок» из поколения детей войны? Неважно.

А что важно? То, что герой его *боится* увидеть в зачётке «хорошо» или «отлично». И тихо смеётся, увидев «плохо». Книгу он откроет уже на улице. И прочтёт дарственную надпись: «Учись, солдат. Это тоже нелёгкое дело».

Да, глубоко запала в душу Шукшина «пятёрка» Ромма…

До конца жизни он будет вспоминать «бесконечно добрые глаза, чуть ироничный, чуть улыбчивый взгляд поверх очков». И благословение учителя, пристально следившего за его первыми шагами в литературе: «Теперь иди сам. Ты – парень крепкий».

Упорный

Об учителе Сросткинской средней школы А.И. Гекмане известно гораздо меньше. Но в судьбе Шукшина он тоже сыграл роль немалую. Об этом рассказала в своей статье «Физик Александр Гекман» **Галина Ульянова**, директор музея В.М. Шукшина в Сростках.

Василий пришёл к Александру Ивановичу уже взрослым. Бывший матрос Черноморского флота, комиссованный из-за язвенной болезни (рано аукнулось голодное военное детство), он готовился сдать экстерном экзамены за среднюю школу. Занимался в дневной и вечерней школах сразу, благо, располагались они в одном здании (сегодня в нём находится музей). Зинаида Ковязина, учительница математики и жена Александра Гекмана, вспоминает в своём письме директору музея: *«…Это был удивительный человек и ученик. Мы, учителя, поражались его трудолюбию, поэтому, естественно, возникало желание помочь ему. Шукшину разрешили посещать уроки математики, физики и химии в дневной школе, по возможности, и вечерней. Эти предметы давались ему, конечно, трудно, но он занимался упорно».*

«Упорный»… Один из самых известных шукшинских рассказов, на страницах которого Александр Иванович появится под своей настоящей фамилией: «Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман». Тот самый, который с улыбкой будет слушать Моню Квасова, «сочинившего» вечный двигатель. Но это улыбка не

снисходительно-насмешливая, как у инженера РТС Голубева. Учитель искренне радуется Мониной задумке, делится своим восторгом с молодой математичкой: «Вот!.. Видите, как всё продумано! А вы говорите…» И, не переставая радоваться чему-то, Моне непонятному – незыблемости законов механики, что ли? – он начнёт разъяснять ему про «кажущуюся неравномерность и абсолютное равенство»… Конечно, не убедит. Конечно, упорный Моня соберёт свой двигатель. И будет враждебно смотреть на «сверкающий спицами светлый круг» остановившегося колеса. Душа опустеет…

Что дальше? Зачем, встретив на улице насмешника-инженера, он как бы между прочим, скажет, что колесо крутится? Почему у него при этом будет такой «честный и усталый вид, нисколько не пристыженный, а даже какой-то просветлённый», что Голубев ему поверит? А обнаружив обман, усмехнётся, но посмотрит на Моню с интересом:

– Всё же не поверил на слово? Сделал…

– Весь день угробил, – подтвердит Моня. – Но дело не в этом… Я всё же не понимаю: почему оно не крутится? Оно же должно крутиться.

– Не должно. В этом всё дело, – простецки улыбнётся инженер. – Учиться надо, дружок. Тогда всё будет понятно.

– Да причём тут – учиться, учиться… А учёных дураков не бывает?

– Бывают! Но всё же неучёных их больше.

Финал рассказа удивительно прост и многомерен. Всё как всегда: «солнце всходит и заходит – недосягаемое, неистощимое, вечное». И на земле по-прежнему «шуруют, кричат, спешат, трудятся, поливают капусту… Радости подсчитывают… Хэх!.. люди, милые люди… Здравствуйте!»

Чей это голос? Мони Квасова? Самого Шукшина? Дуновение летнего ветра, донёсшего голоса из вековой дали? Этот внутренний монолог заставляет задуматься о многом. Например, о том, сколько людей изобретало сверкающие «города солнца», верило в мировую революцию, ценой немыслимых жертв строило светлое будущее… Увы, никакая революция не изменит человечество и не приведёт его строем к счастью. Не потому ли, что сообща борются – за внешнее? А изменить себя в незримой изнурительной битве с самим собой никто не поможет. Путь познания жизни потому так мучительно одинок, что это путь *самопознания* в первую очередь.

Ваня, как ты здесь?!

Свою инородность в столице Шукшин остро чувствовал уже в пору студенчества. Об этом есть запись в его дневнике: «Посмешищем на курсе числился, подыгрывал, прилаживался существовать…».

Валерий Фомин, историк кино, сотрудник НИИ киноискусства, вспоминает, что *«Шукшин всегда был неким перпендикуляром к столичной кинематографической жизни. Московская кинотусовка уже тогда была*

прозападной, а он был ярким патриотом, человеком от земли. В столице Шукшин чувствовал себя изгоем».

Герой рассказа «Ваня, как ты здесь?» тракторист Пронька Лагутин, которого уговорят «пробоваться на артиста», поначалу обрадуется: «Мне глянется такая работа, честное слово. Если увидят меня в деревне, это будет огромный удар по клубу, его просто разнесут по брёвнышку». И, видя недоумение режиссёра, простодушно разъяснит: «От удивления. Меня же на руках вынесут!». Но объясняться-то ему с режиссёром придётся на каждом шагу, по каждому слову… Намаявшись от обоюдного непонимания, Пронька оставит записку: «Не выйдет у нас». И уйдёт.

Шукшин останется, но непохожесть его с годами будет укрупняться, резать глаза, вызывая раздражение и зависть коллег. Непростой нрав сибиряка только добавит проблем. Размашистый, ревнивый, часто доказывающий правоту кулаками… Его начнут «прорабатывать» на партсобраниях.

Один такой эпизод вспоминает **Армен Медведев**, профессор ВГИКа: *«Стоит Шукшин, будто Егор Прокудин – кожаная куртка надета чуть ли не на гимнастёрку, а Сергей Герасимов внушает ему: «Вася, ты должен понять, что ты не просто парень в кожане. Ты – интеллигент!»*

Спасибо, как говорится, на добром слове… Несколько лет спустя писатель сформулирует своё понимание интеллигентности в знаменитом «Монологе на лестнице». А на обсуждении фильма «Ваш сын и брат» скажет: **«Начнём с того, что я всем обязан интеллигенции. Нет оснований видеть в интеллигенции какое-то нехорошее начало нашей жизни, к которому надо внимательно присмотреться… Я люблю деревню, но считаю, что можно уйти из неё. И Ломоносов ушёл из деревни, и русский народ от этого не потерял, но вопрос: куда прийти? Ведь человека тут же вбирает масса недоделанных «интеллигентов», которая имеется в городе… По себе знаю. И эти городские жители начинают по своему образу и подобию приготовлять человека, а потом… глумиться, что такой фанфарон и дурак вырос».**

По сути, это программное заявление. Шукшин, «всем обязанный» интеллигентам, понимает, что настоящих среди них – мало: **«Начнём с того, что явление это – интеллигентный человек – редкое»…**

Не оттого ли его подспудное неафишируемое стремление к интеллигентности напомнит путь Ломоносова в науку: стремительный и мощный расцвет таланта оставит плоды, восхищающие потомков, но скорость духовной эволюции окажется смертельной для человека. Может, великие писатели потому и сгорают быстро, что, идут «головокружительной, опасной кручей в неведомое»? И цена их откровениям – жизнь.

Чудик

Физический труд все больше автоматизируется. Духовный – никакого облегчения не знает. Нет таких высоких технологий. И вряд ли будут. **«Тяжело уходить от родных мест. Стронулся с места и… остался один. Обязательно надо обнаружить в себе нравственную основу, нравственную крепость, чтобы не потеряться».**

Из всех своих знаменитых «чудиков», Шукшин сам первый Чудик. Именно так, с большой буквы. Недаром эпизод одноимённого рассказа взят из жизни Шукшина. Тот самый, где Чудик собственную оброненную пятидесятирублёвку – «полмесяца работать надо!» – постесняется забрать с магазинного прилавка, на котором её сам же, на виду у очереди, эффектно оставляет, подобрав с пола: «Хорошо живёте, граждане! У нас, например, такими бумажками не швыряются!». И столько в чудиках его намешано всякого-разного, что словами не выскажешь: провинциального наива и корневой мудрости, яростного самоутверждения и робости перед «городскими», веры в «науку» и тоски от несправедливого устройства жизни.

Что такое «чудик» по Шукшину? Сельские жители его не понимают. Городские – не принимают. Куда податься? А главное – что делать человеку, у которого душа тоскует и в деревне, и в городе, пытаясь понять, зачем она на земле?

Все таланты у Шукшина – люди с норовом: что мастер Сёмка Рысь, «забулдыга и непревзойдённый столяр», что умелец Васёка, каждый месяц меняющий место работы, что кузнец Фёдор Грай, победивший на краевом смотре самодеятельности. Характерна концовка рассказа «Артист Фёдор Грай»: услыхав объявление, что первое место среди самодеятельных артистов занял именно он, даже отец победителя усомнился.

– Кхм… Может, ещё какой Фёдор Грай есть?

– Нет. Я один Федор Грай, – тихо сказал Фёдор и побагровел. – А может, ещё есть. Не знаю.

Только осознал человек, что «один», не такой как все, как тут же спохватился, покраснев: что подумают?..

Почему самый большой грех, который не прощает человеку общество – это стремление быть самим собой? Почему шаг к себе – самый трудный в жизни? Ведь не герои и не автор записывают себя в «белые вороны»: это реакция окружающего мира на «отступников» такова.

Неустрашимо противостоит всей деревне Алёша Бесконвойный. Его, безотказного и старательного пастуха, считают безответственным оттого, что в субботу и воскресенье он «выпрягается» из колхозных работ. Что и говорить, чудачество опасное, его можно расценить как вызов всему социальному строю: колхозник берёт два выходных в неделю! Это в деревне, где не только начальство, но сама природа-матушка никакого отдыха не признаёт, пока на дворе посевная или уборочная страда. Да и коров каждый

день пасти надо… Случай настолько из ряда вон, что даже настоящее имя героя – Костя Валиков – почти забыто односельчанами, словно человек монашеский постриг принял. Не от мира сего. А ведь весь его бунт сводится к простому желанию *человеком* себя почувствовать, о душе подумать.

Слова настолько затёртые, что первоначальный их смысл почти забыт, как имя самого Алёши. Бывший фронтовик, он «серьёзно вдумывается в жизнь: что в ней за тайна, надо её жалеть, например, или можно помирать спокойно – ничего тут такого особенно не осталось?». А чтобы осталось что-то, она, жизнь должна идти без суеты, **«чтобы в душу вселилась некая цельность, крупность, ясность. Чтобы осознанная любовь вошла в душу – к степи за селом, заре, летнему дню, детям».** Пока нет покоя на душе, гармонии с миром – разве это увидишь? Так-то, милые люди…

И снова звучит этот надмирный печально-улыбчивый голос, вбирая голоса героя и автора, опираясь на мощную поддержку незримого хора.

Петя

Писателя не раз упрекали в сентиментальности, забывая, что фундаментальный принцип сентиментализма – внимание к душевной жизни человека. И потому все упрёки в идеализации героев, чуть ли не в слащавости, – это не к Шукшину. У него как раз мужество обнажённой души: вот я перед вами, принимайте таким, как есть. Разве сыграешь такой взгляд и жест, такую «нутряную» интонацию как в «Печках-лавочках» или «Калине красной»?

В интервью Шукшин был столь же бесстрашно, размашисто откровенен: **«Как только принимаюсь работать – писать рассказ, снимать фильм, – тотчас передо мною являются две трудности: жизнь человека внешняя и жизнь души… Меня больше интересует «история души», и ради её выявления я многое опускаю из внешней жизни человека».**

ДУША *– слово общеславянское, древнейших индоевропейских корней.*
Той же основы, что и дух, воздух, дыхание, дуновение, вдохновение. Однако исконное значение
воздушного слова вполне «телесное»: «ямочка над грудной клеткой».
По Далю душа – «бессмертное духовное существо, одарённое разумом и волей».
А ещё – «душевные и духовные качества человека, совесть, внутреннее чувство».
Взять что-то на душу – принять присягу, дать клятву. Взять на душу грех –
«совершить самоуправство, понимая свою ответственность».
Покривить

душой – поступить против совести. Сказать по душе – сказать по правде».
А пословицы! «Не тужи по голове: душа живая», «Душа телу спорница»,
«Грешное тело и душу съело», «Душа душу знает, сердце сердцу весть подаёт»...

История жизни и история души, как правило, в биографии больших художников не только не совпадают, но и идут наперерез друг другу. Здесь – иной случай. **Валентин Курбатов** очень точно подметил, что *«русским писателям вообще свойственно сбиваться на прямое участие в сочинении, но Шукшин даже в этом требовательном ряду был очевидным исключением».* Вся «история души» Шукшина раскрывается в книгах, им написанных. Оттого и эффект присутствия читателя, его соучастие в событиях, о которых повествует автор, становится физически ощутимым.

«Мой» Шукшин начался с рассказа «Петя»: «Двухэтажная гостиница городка Н. хлопает дверьми, громко разговаривает, скрипит панцирными сетками кроватей, обильно пьёт пиво». Мастерский зачин: доктор Чехов где-то в вечности переглянулся со счетоводом Зощенко, вдалеке узнаваемо громыхнул молодой бас агитатора Маяковского: «улица корчится безъязыкая…»

Далее всё по канонам художественной литературы: завязка-кульминация-развязка. Автор-рассказчик сидит у окна, спиной к дверям и гостиничным разговорам, и от нечего делать наблюдает за Петей, «маленьким, толстеньким, грудь колесом, ушки топориками, нижняя челюсть – вперёд». Ирония и активное авторское неприятие Пети – «хозяина» нарастает от предложения к предложению. Так и видится беспощадно-весёлый шукшинский прищур: сочными мазками, внахлёст, наотмашь выписан складской ответственный работник Петя со своей супругой, буфетчицей Лялькой, «фиксатой притворой». Классический фельетонный сюжет: сельская парочка, благополучно освоившись в городском муравейнике, если что и прихватила с собой из деревни, то далеко не самое лучшее. Прямым текстом, «по-маяковски», выражена авторская позиция: «Обидно. Стыдно. И злость берёт».

И вдруг, под самый занавес, раздаётся голос – не свыше, нет! – «с низов». Старушка, что целыми днями сидит под окном на лавочке, беседует сама с собой: «Кака уважительна бабочка-то. Целый день только и слыхать: «Петя! Петя!» Дружно живут, дай господи».

Можно, конечно, не принимать всерьёз эту реплику: обывательские, мол, взгляды, непонимание высоких идеалов. Можно вообще не заметить старушечьего бормотания, не сбивать с заданного настроя себя и читателя. Но Шукшин прислушивается… И поздно вечером, когда супруги возвращаются из гостей, а Лялька, выбиваясь из сил, тащит на себе хмельного упрямо-капризного Петю, по-матерински уговаривая его идти «баиньки», рождается совершенно непредсказуемая развязка, она же

кульминация: **«Меня вдруг пронзила догадка: да ведь любит она его, Лялька-то… Какого дьявола я гадаю сижу: любит! Вот так: и виды видала, и любит. И гордится, и хвастает – все потому, что – любит. Ну и… дай бог здоровья! А что?»**

И сидишь над книгой, огорошенный этим «а что?»… И другие рассказы Шукшина в этом внезапном вопросе-высверке видятся вдруг иначе. Нет, не в грозном росчерке молнии, а в тонком солнечном луче, пробившемся сквозь щель чердачной дверцы. Когда в полумраке пляшет пыльная метель, а вещи, сваленные за ненадобностью ещё до того, как ты родился, вдруг привлекают внимание и открываются воистину в новом свете.

Сураз

По его рассказам невозможно строить уроки литературы с чётким акцентированием прописных истин: вот добро, а вот – зло. Читайте, учитесь, не путайте.

Как раз у Шукшина всё «перепутано», у каждого героя – своя правда. Почему жаль Спирьку Расторгуева из рассказа «Сураз»? Ведь сам кругом виноват этот «молодой бог», отсидевший пять лет за грабёж: влюбился в чужую жену, вообразил, что всё дозволено, получил достойный отпор от мужа, обиделся и стал месть готовить, а когда сорвалось и самолюбие заело – застрелился.

А «многие на похоронах плакали». Может, потому, что знали: добрый он, Спирька-то. Просто несуразный, заблудившийся. Кстати, сураз – это не только в «подоле принесённый», как объясняет Спиридон учительнице. В Сибири суразом называют неожиданный удар судьбы, сочувственно говоря: «Сураз за суразом, беда по беде». Нескладная, бесприютная душа, «скособоченная» судьба у человека, которого в тридцать шесть лет вся деревня зовёт Спирькой. По рассказам односельчан, сам Шукшин ещё мальчишкой держался со сверстниками строго, требовал, чтобы они звали его не Васькой, а Василием. Они, естественно, воспринимали это как чудачество и поднимали на смех. Нередко доходило до того, что подросток убегал в протоки Катуни и скрывался на её островах по нескольку дней. Может, как Спирька, сидел там, «закрыв ладонями лицо». Может, думал. Может, плакал…

А Спиридон наделён от рождения не только яркой внешностью, нерастраченной силой и добротой, но и незамутнённым природным чувством красоты. Замыслив самоубийство, не о смерти думает, а о том, как будет выглядеть после неё. Место ищет не только уединенное, но и красивое: «Вот где стреляться-то. А то на кладбище припорол…».

И не позёрство это, а смертельная усталость от непонимания смысла жизни. Вот пытался злобу в себе разбудить, месть вынашивал, а душа восстала против. Выходит, доброта – это слабость? За которую не только

Спирька жизнью платит, но и Егор Прокудин? (Эта фамилия не случайно впервые прозвучит именно в рассказе «Суразъ»).

Беда по беде… а победа где? В том, что красиво ушёл из несуразного мира людей? Так подросток шагает из окна многоэтажки в бездну, по-детски не веря в собственную смерть, но ярко представляя, как «они», его ругатели-гонители, будут плакать над ним и говорить запоздалые добрые слова.

И ведь плачут…

Калина красная

Как разглядеть человека под маской, которую он, повинуясь инстинкту самосохранения, надевает на себя? У Евгения Евтушенко есть стихотворение, повествующее о первой встрече:

Галстук-бабочка на мне,
Сапоги – на Шукшине.
Крупно латана кирза,
Разъярённые глаза…

И далее о том, как чуть не подрались два сибиряка, приехавших покорять столицу:

Крик: «Ты бабочку сыми!
Ты со станции Зимы,
А с такой фитюлькой!»

Но кавалерийским наскоком поэта не возьмёшь, он отвечает на равных: сниму, когда ты скинешь сапоги. Что ж, Шукшин на решения скор. И в голенища его латаных кирзачей ныряет «пижонская» бабочка…

Под портянками он бос,
И хохочет он до слёз:
«Ты, однако, шельма!»
Хорошо за коньяком,
Если ноги босиком
И босая шея!

Ну, про босые ноги Шукшина не писал только ленивый. Он и на Пикете увековечен босым. Но ведь душа-то у него тоже – босоножка с голой шеей. В галстуке-бабочке Василий Макарович, насколько известно, не щеголял даже в кино. А вот «барский» халат примерял: запало ему в душу аристократическое белое-пушистое чудо, увиденное на однокашнике Андрее Тарковском. Захотелось точно такое же. Нашёл. Купил, Примерил. Расхохотался нелепому своему виду и… запрятал подальше.

Этот забавный эпизод заставляет вспомнить очень серьёзные слова Шукшина о **«вековой городской культуре и об истинно интеллигентных людях». О том, как трудно деревенскому парню «обратить своё вековое терпение и упорство на то, чтобы сделать из себя Человека.**

Интеллигента духа». Последнее, по его словам, означало: очень хороший человек. Городской ли, деревенский – не суть важно.

Когда Василий Макарович писал «Монолог на лестнице», мучаясь тем, что «ни городской, ни деревенский уже», что деревня уходит навсегда со всеми её традициями и корневым укладом, его городские коллеги-сверстники пытались противостоять наступлению мещанства, вещизма и блата. Арбузов и Трифонов, Тендряков и Васильев во весь голос предупреждали о подмене духовных ценностей материальными. Увы, в нарождающейся эпохе застоя, которая была предтечей перестроечной вакханалии, их не слышали. И, протестуя против двойной морали, многие дипломированные «инженеры душ» уходили в дворники и кочегары.

Человеку дорого не то, что дано, а то, что завоёвано и выстрадано. Будь то идея, земля или любовь. С этой точки зрения азарт потребителя ничем не хуже и не лучше любого другого азарта: охотника, игрока, воина, исследователя. Азарт – это адреналин, хмелящий и окрыляющий на пути к цели. А цель, как правило, не бывает плохой или хорошей – всё зависит от того, каким путём к ней идут. И когда путь приводит на самый край, оставляя человека наедине со своей совестью, он постигает, что все случайности и нелепости не были произвольными – всё это ступени, которые необходимо было преодолеть в одиночку.

Кто из героев Шукшина в халате хаживал? Правильно, рецидивист Прокудин. Разве забыть эту непередаваемую интонацию: «Народ к разврату готов?». И смертную тоску в глазах…

Егор, по словам автора, – человек изначально добрый и, несомненно, сильный. К тому он самолюбив, как всякий одарённый человек. Чем одарён? А вот… душой – живой, широкой и болящей. Не признающей «маленьких норм». Оттого и жизнь его пошла «вбок», в загул. Наголодавшись в детстве, Егор хотел праздника. Думал, что праздник этот можно устроить за деньги. Не получилось: это тебе не халат купить… Ведь хотелось не просто гулянки, а праздника души: мира, покоя, лада, радости. А за это, как горько подчёркивает Шукшин, «целые жизни кладут».

Писатель Александр Плетнёв сказал о таких душевных разломах предельно точно: «Вся вера, вся религия – в совести человека. И сам он себе дьявол, и сам он себе бог».

О, эта ***СОВЕСТЬ,*** *заимствованная из церковного старославянского языка!*

С её корнем «вед», затерянным во тьме тысячелетий. «Веды», «ведать» и «совет» находятся в близких родственных отношениях. Но совет – это совместное знание людей (совет депутатов, совет директоров и т. д.). А совесть, образно говоря, – совет Бога. Весть, поданная свыше и услышанная душой. По той же аналогии судьба – суд Бога.

Определения совести в словаре Даля – одно изумительнее другого. Готовые поэтические формулы: «Нравственное чутье в человеке». «Внутреннее сознание добра и зла». «Тайник души, в котором отзывается

одобрение или осуждение каждого поступка». «Чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее от зла». «Невольная любовь к добру и истине». «Прирождённая правда в различной степени развития» ... Под стать им и пословицы: «От человека утаишь, от совести (от Бога) – нет». «Добрая совесть – глас Божий». «Богатый совести не купит, а свою погубит».

«Глаза – мера, душа – вера, совесть – порука».

Душа Егора Прокудина тоскует по цельности. Но человек как часть Вселенной изначально не является целостным, поскольку оторван от целого. Хотя подсознательно в течение всей своей жизни он к этой целостности стремится. И стремление это объединяет всех людей на земле: каждому человеку не даёт покоя удалённость от первоисточника – Бога, Высшего Разума, Абсолюта – названия разные, а суть одна. Интуитивно он это чувствует, ищет душевный покой и гармонию. Но устремляется, как правило, к радостям простым и понятным, пытаясь забыться с помощью денег, еды, вещей, развлечений, секса. И только со временем чувствует, что упустил в жизни главное, ради чего явился на свет. Вернуться бы назад, где нас любили…

Егор Прокудин так домой и не вернётся, даже стоя на пороге родной горницы и слушая беседу матери с Любой. И всё отчаяние его – от невозможности возвращения. Именно к нему, одному из любимых своих героев, Шукшин беспощаден: «Ушёл от корней, ушёл от истоков, ушёл от матери… и таким образом, уйдя – предал. Предал!».

Мать-то Егора простит, а вот он себя – нет. У Шукшина образ матери олицетворяет родную землю, Родину в самом незамутненном родниковом значении слова. Но она, мать, ещё и тревожно-бессонный голос совести.

«Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге враг? Оттого, что жаль родных матерей, детей, землю жалко»…

Но ведь бросили её, Мать-Землю, на произвол судьбы сыновья и дочери, дружно подавшись в город за лучшей долей. Понятно, что многие не по своей воле уехали, понятно, что время такое и всё же…

То же самое неизъяснимое чувство вины, что в знаменитых строчках Александра Твардовского:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь -
Речь не о том,
но всё же, всё же, всё же…

Что получается: врага победили, родную землю отстояли, да сами её дружно и предали?

В Сибири – пустили вековые деревни и пашни под затопление (вспомним старуху Дарью из распутинского «Прощания с Матёрой»: всех-то

она жалеет, «христовеньких», а саму себя укоряет: не ушла вовремя, зажилась). По краям былой державы пооткусывали-раздарили острова и пограничные земли – а что? землицы-то много, хватит на наш век! И в цене самой великой Победы, в её всенародном, всемирном значении позволили себе усомниться.

Потому и «заученно-жалкий», «привычно-жалкий» голос матери Ваньки Тепляшина всё не идёт из памяти. И смотрит, прильнув к оконному стеклу, вглядывается нам в душу слабыми старческими исплаканными глазами мать Егора…

Материнское сердце

Степана Разина он готов был признать интеллигентным человеком за «способность сострадать чужим страданиям». Жалость – ту, которая, как известно любому школьнику, «унижает человека», – считал одним из синонимов доброты и человечности, яростно возражая Горькому: **«Зря всё-таки воскликнули: «Не жалеть надо человека!.. Это тоже от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать – да. Только ведь уважение – это дело наживное, приходит с культурой. Жалость – это выше нас, мудрее наших библиотек. Мать – самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное – вся состоит из жалости».**

ЖАЛОСТЬ *– такое же общеславянское слово как «душа». В нём, образованном с помощью суффикса от «жалъ» (жало) изначально заключён парадокс. Два равноправных значения противоположны по смыслу. Жалить – колоть, причинять боль. И жалить – жалеть кого-то. Беречь, охранять от боли. Любить…*

В словаре Даля читаем: «Жаль, жалость, жальба – состраданье, соболезнованье, сочувство при чужой беде». Жалеть – скорбеть, болеть сердцем, щадить, беречь. Не давать в обиду. А ещё – «хранить, расходовать скупо».

О, парадоксы русских суффиксов! Жалкий – тот, кто достоин жалости и сожаления. Но жаловать кого-то означает – любить и чтить, а жалованье – награда за службу. Как близко в русском языке отстоят друг от друга жалкость и почёт, сожаление и награда…

А эта старинная пословица, звучащая в унисон словам Шукшина: «Человек жалью живёт»?!

В его рассказах жалость к людям – едва ли не основной лейтмотив. Синоним любви. Самоотречение, высокая требовательность к себе и как

венец человеческой духовной зрелости – сострадание и жалость. Олицетворение которой – мать.

«Жалко сына Витьку, ох жалко. Когда они хворают, дети, тоже их жалко, но тут какая-то особая жалость, когда вот так – просишь людей, чтобы помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится…».

Как глубоко заглянул Шукшин в женское материнское сердце! Как верно почувствовал несокрушимую и мучительную силу любви, настоянной на жалости… «Мать мудрым своим сердцем поняла, какая сила гнетёт душу её ребёнка: та самая огромная едкая сила – отчаяние, что делает в душе вывих, заставляет браться за верёвку или бритву».

Что потрясает в рассказе «Материнское сердце»? Мать невезучего Витьки Борзенкова, терпеливо выслушивая разных милицейских начальников, *словесную оболочку* их доводов не воспринимает вовсе. Потому что в такие отчаянные минуты матери слушают начальников и врачей только сердцем, всё считывая с лица. Вот и Анна Борзенкова слышит одно: враждебна милиция её сыну, «за своего обиделись». Держась из последних сил, чтобы «не грохнуться и не завыть в голос», мать нигде не мешкает, не останавливается. Понимает, что прийти в отчаяние – это гибель. И действует: «Ничего, добрые люди помогут».

«А что, мама? Тряхни стариной – приезжай. Москву поглядишь и вообще. Денег на дорогу вышлю…». «Сельские жители» – один из первых рассказов, на страницах которого появляется мать, деревенская женщина, которая вечно ждёт своих разлетевшихся по белу свету детей, за всех тревожится, всё прощает. Сыновья, уехавшие в город, тоже помнят её и готовы всю столицу – да что там! – всю страну перевернуть, ежели какое редкое лекарство ей понадобится. Змеиный яд, к примеру. Почему именно яд, а не любое другое лекарство? Может, потому, что вспоминают о матерях, когда они неизлечимо заболевают от ядовитой тоски и жалящей боли в сердце? Суетятся дети, в героических усилиях лекарства добывают, летят в деревню… вот! Достали! А несколько дней спустя налаживаются обратно в город.

Остаются такие, как Ванька Тепляшин. Стоит он у окна городской больницы, смотрит на то, как живёт «чужая его уму и сердцу улица», тоскует… И вдруг видит мать, приехавшую проведать его. «Ах, родная, ты родная! Вот догадалась-то». А дальше простой сюжет: вахтёр мать не пустил, поскольку день не приёмный. Ванька распсиховался, подрался с вахтёром и стал вещи собирать. И вся палата его уговаривала, и доктор брался всё уладить – ни в какую. Так и уехал недолеченный. К рассказу этому мы ещё вернёмся, ведь сюжет повторится в «Кляузе», которая станет завещанием Шукшина. А пока Ванька едет с матерью в автобусе и твёрдо знает, что «через какой-нибудь час он будет дома». Вот главное-то…

Нежная любовь к матери, Марии Сергеевне, – «самому уважаемому в жизни, самому родному» человеку вылилась у Василия Шукшина в

биографический цикл рассказов «Из детских лет Ивана Попова». Люди, знавшие писателя с детства, утверждают, что он ненавидел колхозы, чекистов и… Максима Горького, считая его роман «Мать» талантливой фальшивкой.

В начале 30-х годов за невыполнение продразверстки арестовали, а затем расстреляли почти всех сросткинских мужиков, в том числе и Макара Шукшина, отца писателя. Овдовевшая Мария, которой было всего-то двадцать два года, решила покончить жизнь самоубийством. Вместе с маленькими детьми забралась в печь и задвинула заслонку, намереваясь угореть насмерть. Спасла их соседка, случайно заглянувшая в избу…

М.С. Куксина пережила не только двух мужей, но и любимого сына. Да ещё, к горю её, схоронили «милого дитёнка» в Москве-столице: на могилку из Сростков не наездишься. В музее хранятся письма Марии Сергеевны к Елене Лимарь, профессору Московского института иностранных языков, много лет присматривающей за могилой Василия Макаровича на Новодевичьем кладбище:

«Добрый день, дорогая, родная Лена. Ой, правда пословица говорит: «Мир не без добрых людей». Он меня, милый сын, сроднил со многими миллионами людей… Жив был, сам мать любил, жалел, ценил, а умер – людям, наверное, наказал: не забывайте мою мать. Ангел мой господний, после дитя милого и солнце красное не может меня согреть…»

«В глазах стоит: в белой рубашечке, верхняя пуговка расстёгнута, волосики намочены. Вот гляжу на него: родной мой голубчик, как же он страдал за людей и всё хотел добиться правды, дитёнок мой милый»…

Разве материнское свидетельство – через десятки лет – не самое веское подтверждение истинности и искренности пути Шукшина?

«Как же он страдал за людей, жалел, хотел добиться правды»…

Сильные идут дальше

«Философия, которая – вот уже сорок лет – норма моей жизни, есть философия мужественная». Это не ради красного словца сказано… Были в жизни Шукшина отчаянные минуты, из тех, что «делают в душе вывих», который никакой водкой не зальёшь. Например, в 1967 году, когда заморозили съёмки «Степана Разина» и отложили экранизацию шукшинской сатирической сказки «Точка зрения».

Вспоминает **Станислав Ростоцкий:** *«Одно время было очень тяжёлое положение у Василия Макаровича – и творческое, и бытовое. Лечился он двумя способами: русским национальным напитком и поездками на родину в Сростки. Я в это время фильм снимал. И вдруг вызывает меня директор киностудии имени Горького Григорий Бритиков и говорит: „Стас, с Васей плохо, поезжай, привези“. Не мог я тогда поехать – нельзя было бросить съемочную группу, остановить картину. Сел за письмо. В нём я затронул тему самоубийства: все ведь боялись именно этого, что Шукшин что-нибудь с собой сделает. А я написал о своём поколении, о войне, о том, что вхожу в три процента счастливчиков 1922 года рождения, которые*

вернулись в мае 1945-го. И Василий Макарович приехал. Надо было его знать… Он подошёл ко мне в коридоре киностудии и пожал руку: „Спасибо“.

Что до лечения «русским национальным напитком», то Шукшин, в отличие от десятков и сотен русских талантов, нашёл в себе силы вырваться из удушающих колец «зелёного змия». Правда, предшествовало этому сильнейшее потрясение.

Режиссёр **Глеб Панфилов:** *«В ноябре 1969 года нас с Шукшиным пригласили в Парижский киноцентр на премьерный показ фильмов «Странные люди» и «Начало». Помню, перед демонстрацией нас угощали каким-то замечательным, сверхмарочным шампанским – из подвалов времени. Вкуса не помню – так волновался. А Вася и вовсе не пил. Он вообще в то время дал зарок не пить ни капли и своё слово сдержал до самой смерти. Потом рассказывал, что однажды пошёл со своей маленькой дочкой гулять. Встретил приятеля, зашли на минуту отметить встречу. Дочку оставили на улице. И забыли… А когда вышел из кафе, дочки не оказалось. В ужасе он обегал весь район. Что пережил – не рассказывал, но, по-видимому, это так его потрясло, что он поклялся никогда больше не пить, что и выполнил. Мне кажется, что он вообще выполнял всё, что задумывал, всё, что зависело от него, лично от него, от силы его воли, его характера».*

В рассказе «Сильные идут дальше» примечателен спор «очкариков»-туристов на берегу штормящего Байкала. Бросая палки «в рассерженную морду» озера, они философствуют:

– Смотрите, чем дальше палка от берега, тем дольше её не выбрасывает.

– Это давно известно. Корабли в шторм стараются уйти подальше от берега. Это похоже на людей: сильные идут дальше. В результате в шторм… житейский, так сказать, выживают наиболее сильные.

Слово, в том числе и данное себе самому, Шукшин держал всегда. Даже у Шолохова в гостях не выпил, на что обиженный Михаил Александрович обронил: «Буду в Москве у тебя, чашки чаю не трону». Когда Василия спрашивали: ты себе пружину, что ли, вшил? – он не сердился, объяснял спокойно: «Не в пружинах дело. Был я у одного старичка доктора, который лечил Есенина, и из той беседы вынес – только сам я, без лекарств, кузнец своего тела. Надо обуздывать себя…»

Все главные свои вещи он делал на пределе сил. Его поведение во время монтажа «Калины красной» потрясло всех, кто находился с ним рядом.

Валерий Фомин, историк кино**:** *«Я видел, как буквально таял, умирал на глазах Шукшин, сбежавший из больницы в декабре в одних тапочках, чтобы самому сделать навязанные цензурой «исправления» и спасти картину. «Калина» была уже вся порезана, а её автору надо было немедленно возвращаться в больницу. Но он боялся оставить фильм в «разобранном» виде. И чтобы как-то «зализать», компенсировать*

нанесённые раны, хотел сам сделать чистовую перезапись. Смены в тон-студии казались нескончаемыми: по двенадцать часов! И буквально через каждые два часа у Василия Макаровича начинался очередной приступ. Он становился бледным, как полотно, сжимался в комок и ложился вниз лицом прямо на стулья. И так лежал неподвижно и страшно, пока боль не отступала. Он стеснялся показать свою слабость, и помощники его, зная об этом, обычно уходили из павильона, оставляя его одного. Тушили свет и уходили. Сидели в курилке молча. Проходило минут двадцать-тридцать. Из павильона выходил Шукшин. Всё ещё бледный как смерть. Пошатываясь. Как-то виновато улыбаясь. Тоже курил вместе со всеми. Пытался даже шутить, чтобы как-то поднять настроение. Потом все шли в павильон. И снова приступ…»

Созидать самого себя в сберегающем режиме в принципе невозможно, но духовное самостроительство писателя-актёра-режиссёра было, без преувеличения, неистовым. «Рвусь из сил, из всех сухожилий…» – словно про него Высоцким написано. Даже спал, не разжимая кулаков… Он вообще ничего не делал наполовину, чувствуя, что времени ему отпущено немного.

Когда-то его поразили слова философа-эмигранта Ивана Ильина: ***«Есть культура сердца, совести и чувства. Есть культура служения, самоотречения и жертвенности. Есть культура храбрости и подвижничества. Этой-то культурой строилась и держалась Россия».*** Прочитанные в студенческие годы в самиздатовском журнале «Вече» строки опального мудреца стали главными вехами на его пути.

Правда

Может быть, более всего он «выламывался» из общего ряда собратьев по перу и киноискусству своим отношением в правде.

«Правда» – это название одного из самых первых его рассказов. О том, как чуть не поссорились председатель колхоза Аксенов с директором совхоза Воловиком. Директор – из городских инженеров. Только прибыл принимать хозяйство. И уже подловил многоопытного Аксенова на неправде. Нехорошо, мол, товарищ: умолчал на совещании, что клуб не достроил, мор свиней утаил, акт ветврача скрыл… Потерявший терпение председатель ответствует:

– Знаешь, о чём попрошу: как только первый раз словчишь, скажи мне. Только по-честному. Мне охота узнать, проживёшь ты без этого или нет?

Мораль – по старой русской пословице: «И твоя правда, и моя правда, и везде правда – а где она?».

ПРАВДА *– от слова «правый», исходно означающего «прямой», и только затем – «настоящий, истинный». Право, правило, поправлять,*

праведник – производные от этого же слова. За много веков до крещения Руси и появления русской письменности в Велесовой книге было записано: «Правь – это высший мир Бога, Света и Истины».

Владимир Даль, как всегда, вносит уточнения: «ПРАВДА – истина на деле. Истина во образе, во благе. Правосудие. Справедливость. Праведный – оправданный житием, поступающий по закону Божию».

Крест кладут правой рукой. Здороваются – тоже правой. Самых дорогих гостей садят рядом, с правой стороны – одесную («десница» – правая рука). Правое дело – справедливое, законное. Правят дорогу, кладку, вывих, рукопись. Правят лошадьми и кораблем. Правят царством. Правёж – «взыскание долгов истязаньем». Поставить на правёж – звучит современно, почти как «поставить на счётчик».

А до чего горьки и безрадостны вековые пословицы! «Нет правды на свете, суда по правде». «Правдою жить - палат каменных не нажить». «По правде тужим, а кривдой живем. Про правду слышали, а кривду видели».

Но в народе помнили и другое: «В ком правды нет, нет и совести», «Правда сама себя очистит», «Не в силе Бог, а в правде», «Дело знай, а правду помни», «Без правды не житье, вытье», «Завали правду золотом, затопчи её в грязь - всё наружу выйдет»

И, наконец, суровое предупреждение: «Не ищи правду в других, коли её в тебе нет».

По Шукшину понятие правды охватывает все сферы жизни человека. Это его уверенность: профессионально, значит, есть правда. Это убеждённость: «стыдно выделывать ногами кренделя, когда народу плохо». Это «искусство так сказать, чтобы тебя поняли. Молча поняли и молча сказали спасибо».

Казалось бы, ты профессиональный актёр – ну и играй, чтобы зрителю нравилось. Ты писатель – ну и пиши, чтобы нравилось читателю. А он писал такие книги и ставил такие фильмы, что били его и справа и слева: и профессиональные критики, и кинематографисты, и писатели, и, что, особенно было ему горько, свои же земляки. *«А как Василия Макаровича на родине честили!* – сумрачно усмехаясь, вспоминал **Виктор Астафьев.** – *Целыми громящими статьями и коллективными письмами. Это теперь заливаются: наш великий земляк!».*

Вынужденный ото всех отбиваться, перед всеми оправдываться, Шукшин сгорал не по дням, а по часам: «Пишут, требуют красивого нравственного героя… удивляет искренность и злость, с какой требуют и ругают, редкая уверенность в собственной правоте… мать моя не знает, куда глаза девать от стыда».

Почему обиделись земляки? Потому что показал их, любя, но совсем не парадно, без грима и ретуши, без платков «с тистями» и пышных декораций а-ля Пырьев. Показал так, что «встали они во плоти, крикливые, хвастливые,

работящие, совестливые, родные…» Он их видел духовным зрением. И мир увидел их его глазами. А им обидно было остаться в кино такими, как в жизни…

Его частенько не понимали. Принимали за другого. Как Сашку в «Обиде». А он оставался самим собой. И про кого бы ни рассказывал – во весь голос звучала его душа, а сердце рвалось от невозможности что-то изменить в этом мире. Как у Васёки, плачущего над могучей и беспомощной фигурой им же сотворённого Стеньки Разина.

Может, сильней всего переворачивают душу рассказы, где речь идёт о людях обиженных и бессильных понять, *за что* их обидели. Вот Сашка Ермолаев пытается объясниться сначала с продавцами, потом с пожилым покупателем в плаще: обознались, мол, не дебоширил он вчера в магазине, потому что на работе был. И не в этом даже дело, а в том, что оскорблён ни за что человек рабочий, семейный, не пьянь и не «подворотня чертова». Бесполезно.

Сашкина обида сменяется яростью и требует выхода. Вот это страшно: он, безвинный человек, подняв руку на своих оскорбителей, сразу перейдёт в разряд дебоширов, а то и вовсе попадет под уголовную статью. Сам Василий в отрочестве, узнав, кто из односельчан донёс на его отца, взял ружьё и пошёл вершить суд. Это в то время, когда о погибших и арестованных говорили шёпотом: каждый мог оказаться «врагом народа». Человек, которого собирался убить сын «врага», оказался предупреждён и благоразумно исчез. Судьба хранила Шукшина… для России.

А Сашку спасёт жена. И он «покорно пойдёт домой». Над тихим городским двором будет долго, как папиросный дым, витать горький вздох: «Эх-х… трясуны мы, трясуны!». Откуда он? Из Сашкиной груди, из сердца автора, или могучий хоровой выдох «от Москвы до самых до окраин»?

А ведь зачин рассказа звучал иначе: «Ну, обидели и обидели – случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни – это тоже, знаете… роскошь. Благоразумие – вещь не из рыцарского сундука, зато безопасно. Да-с». Словом, монолог покупателя в плаще, если бы он, допустим, выслушал Сашку и поверил ему.

Так на чьей стороне правда?

Ответ Шукшина удивителен: все правы. Если изображены правдиво.

«Правда труженика и правда паразита, правда добра и правда зла – это и есть, пожалуй, предмет истинного искусства. И это есть высшая Нравственность, которая есть Правда».

НРАВСТВЕННОСТЬ *берёт исток от старославянского «нрав, норов»,*
то есть – воля, желание.

По словарю Даля «нрав – одно из двух свойств духа человека. Ум и нрав слитно образуют дух (душу в высшем значении). Ко нраву относятся как понятия подчинённые воля, любовь, милосердие, страсть. К уму – разум,

рассудок, память и прочее. Согласный союз нрава и ума, или сердца и думки, образует стройность и совершенство духа. Разлад их ведет к духовному упадку».

Итак, согласие «сердца и думки», души и ума… но ведь это формула мудрости! Значит, нравственно то, что мудро? То, что обуздывает страсти, делает любовь зрячей, а волю – разумной? «Душа в высшем значении»… Но как достичь этого высшего совершенства?

У Даля есть ответ: «Человек должен достичь такого единства (нрава и ума) высшим путём, с помощью чувства долга обуздывая страсти. Нрав человека бывает природный и выработанный сознательно, постоянным душевным трудом, насколько сумеет он согласовать сердце своё и думку».

Не этим ли путем шёл Шукшин?

Словарная статья напоминает сжатый философский трактат. Читаем дальше:

«Нравственный быт человека важнее быта вещественного. Нравственный – противоположный умственному, но составляющий общее с ним единое духовное начало.

К умственному относится истина и ложь, к нравственному – добро и зло.

Всякое самоотвержение есть поступок нравственный, доблестный.

Христианская вера заключает в себе правила самой высокой нравственности. Гражданская нравственность требует только строгого исполнения законов, вера же ставит судьею совесть, то есть Бога».

Правда – нравственность – совесть. Эта триада у Шукшина неразрывна. Но слово с большой буквы одно: Правда. Именно её «всегда знает народ».

Помню, как удивилась, прочитав в этимологическом словаре, что слово **«народ»** произошло от общеславянского глагола «народити», производного от «родить». Удивилась тому, что слово-то, оказывается, «материнское»: народ – дети, рождённые матерью-Родиной, матерью-землёй. Это именно семья, единый организм, который выше, значительнее, безгрешнее любого его члена. И – памятливее.

Народ – не «построишь», это не толпа, а тем более, по слову Валентина Распутина, не «пустое множество».

…Читаю «Дядю Ермолая» уже неведомо, в который раз, а вижу Шукшина, вошедшего в возраст Ермолая Григорьевича. Он также будет скрипеть зубами и сдерживать подступающие слёзы бессильной ярости – «когда ничего не мог больше». Так же будет мучиться оттого, что лгут в глаза и хихикают за спиной уже не мальчишки, а взрослые. И будет разрываться его душа от «отчаяния и злости», оттого, что не знает, в чём Истина, «кто из нас прав, кто умнее»?

Но превыше всего будет в нём любовь к этим людям, похороненным на деревенском погосте. Вечным труженикам, не знавшим ничего, кроме работы.

«Кто бы ты ни был – комбайнёр, академик, художник – живи и выкладывайся весь без остатка, старайся много знать, не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным», – эта простая дума не над родными ли могилами родилась?

Кредо сердца, срощенного с отчей землёй сильными и живыми корнями…

Верую!

То, что этим кровоточащим сердцем написано, и прочесть можно только сердцем. Вот, к примеру: **«Душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, едрёна мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием душевным. Живи, сын мой, плачь да приплясывай. Не бойся, что будешь сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай и ад».**

В моей памяти эти слова рождают эхо: строчки Глеба Горбовского.

А разве тот счастливей на погосте,
кому трава обсасывает кости?
Всё только на земле: и рай, и ад.

Стихи из сборника, изданного в семидесятые годы. Может, они одновременно с шукшинским рассказом написаны? «Бродили по умам» в застойной атмосфере, раскалённой дурными предчувствиями. Уж в России-то испокон веков от рая до ада – полшага…

А может, дело в том, что *творить себя* в процессе писательского ли, актёрского, любого другого творчества на самом деле очень редкий путь в искусстве. На этом пути загадок у Шукшина много, и разгадывать их будет каждое поколение жителей русской земли по-своему.

К примеру, может ли писатель – да ещё актёр! режиссёр! – словом, может ли «публичный человек» прожить жизнь, не играя на публику? Достанет ли у него терпения и мужества неумолимо всматриваться в себя, в свою душу, и выносить на всеобщее обозрение её смуту и тревогу, боль и стыд, спрашивая: что с нами происходит?

Должен ли писатель жить так, чтобы его книги не только выражали, но и подтверждали жизненное кредо, а судьба была продолжением и подтверждением этих книг? Должен ли актёр отвергать красивое слово ради слова точного, искреннего, выступать против сценических эффектов ради правды характеров? Должен ли режиссёр не идти на поводу у зрителя, а вести его за собой, ничего не суля, кроме труднейшей душевной работы? Вопросы, вопросы… Большинство коллег Василия Шукшина, в том числе представители интеллектуальной и духовной элиты, услышав их, если и не усмехались открыто, как инженер Голубев, то отвечали, вежливо пряча

улыбки: «Не должен». А он с крестьянским упорством ставил эксперимент на себе. И доказывал: можно! Коллеги, пожав плечами, отходили, оставляя его в одиночестве…

Возможна ли жизнь без страдания? Философы и богословы отвечают: нет. Тот, кто не страдает – живёт зря: он ничему не учится. Тот, кто страдает всю жизнь, не сумев избавиться от страданий – тоже живёт зря: он ничему не научился. Где же выход?

В вере в Бога, говорят верующие. В вере в человека, утверждают атеисты. А во что верил коммунист Шукшин, по свидетельству близких людей хранящий в шкафу иконку? От его ли имени говорит «громадина поп» в рассказе «Верую»?

– Я хочу верить в вечное добро, в вечную Высшую силу, которая всё это затеяла на земле. Хочу надеяться, что эта сила – победит. Иначе – для чего всё?.. Я такой силы не знаю. Возможно, мне, человеку, не дано и знать её, и познать и осмыслить. В таком случае, я отказываюсь понимать своё пребывание здесь на земле… Ты пришёл за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это – океан.

В интервью, данном незадолго до смерти, Шукшин пытался объяснить корреспонденту газеты «Унита»: «Ситуация в рассказе «Верую» выдуманная, поскольку… несколько крайняя, что ли. Мне показалось заманчивым столкнуть… представления о жизни совсем разные».

Но велика ли разница, если человек, «взвыв от тоски и безделья, идёт к попу, который сам не верит»?

Наверное, самый железный ответ на все больные вопросы: *так надо.* С другой стороны – тоска смертная, на разрыв души. И крамольное подозрение, что всё это… вся эта жизнь – мираж, подделка. Чувство, в котором себе и сознаться-то боишься, но оно живёт в самой глубине сердца и делает свою разрушительно-созидательную работу, готовя побег.

Но «побег» – это же росток. Душа должна созреть, набраться сил, чтобы пробить путь к свету – сквозь слой почвы, камень, асфальт.

Людям хочется тверди под ногами. И – тишины. Народ устал от словесного блуда и барабанного боя, устал бояться и унижаться, а главное – от обмана устал. Обмана, которым не только власть отделена от народа, а родина – от государства, но и Бог от церкви. Не в этом ли причина того, что верующие люди и сегодня не торопятся идти в храмы, не хотят быть «воцерковленными»? Может, потому, что чувствуют: вечная виновность и греховность – это тупик.

«Просим Бога о чуде, а он терпеливо ждёт его от нас, потому нет у Него других рук, кроме наших». Большинство чудес – рукотворно. Но люди смотрят в небо и ждут…

И Шукшин устами попа произносит своё, заветное:

– **Теперь я скажу, что бог – есть. Имя ему – Жизнь. В этого бога я верую. Мы ведь какого бога себе нарисовали? – доброго, обтекаемого, безрогого, размазню-телю. Ишь мы какие!.. Такого нет. Есть суровый,**

могучий – Жизнь. Этот предлагает – добро и зло, вместе, – это, собственно, и есть Бог.

Интересно, что в шукшинской орфографии Бог, трижды написанный с малой буквы, в четвёртый раз удостоен прописной.

Правда, ему предшествует слово Жизнь, дважды повторённое с заглавной.

ЖИЗНЬ *– от слова «живот». ЖИВА – богиня наших предков-славян, олицетворяющая энергию жизни человека, его личную силу. Для того, чтобы не терять эту силу, люди должны научиться жить по Прави, то есть по Правде.*

По словарю Даля, ЖИВОТ – «жизнь человека и животного, что есть в твари живое, оживляющее плоть, образующее земную жизнь. Лишиться живота – умереть, лишить живота – убить».

Что касается самой ЖИЗНИ – это «житие, бытие. Жизнь дана двум царствам природы – животному и растительному. В высшем значении – как бытие – относится к душе или к смерти плоти. Жизнь человека, век его – всё продолжение жизни земной от рождения до смерти: род и образ жизни человека, быт, деяния, поступки, похождения и т.д. Живой – кто жив, кто живет, в ком есть жизнь».

Духовной жизни в словаре отведён целый большой абзац: «Живая душа – не погибшая во зле и лжи, спасённая. Живой разум – острый, проницательный, впечатлительный. Живая вера – искренняя, горячая, обнаруженная делами. Живые глаза – обличающие горячую душу, ум, острые и веселые.

Живой язык – которым говорит народ поныне».

Может быть, самая трудная задача человека в жизни – пройдя через боль и грязь, сомнения и утраты, вернуться к чувству чистоты и цельности. Вообще, по Шукшину, жизненный путь человека – это возвращение к чему-то главному, вспоминание этого главного. Вера в себя, свои силы приходит, когда кончается внутренний разлад. И вот этот миг – счастье.

«Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания – не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».

Срезал

Ах, эта фразочка ироничного Губошлёпа, утешительно брошенная Люсьен: «Он и человеком никогда не был. Он мужик, а их на Руси много». Где-то же она была услышана Шукшиным. От кого? Не от столичного ли

бомонда, именующего его «алтайским воспитанником»? Чем вызывал он злость, едва прикрытую напускным презрением? Ненависть, которую нельзя было замаскировать интеллигентским ёрничаньем?

В чём чуяли опасность, исходящую от Шукшина?

Разве страшен безоружный человек, который вразвалочку идёт по весенней пашне под пули? Ещё как страшен, если за его спиной – многие поколения молчаливых ратников-мужиков. Которые по-настоящему, по-русски страшны и непобедимы, когда надевают белые рубахи и встают во весь рост…

«Всё дело в суффиксах», – тонко заметил Лев Аннинский во время очередной дискуссии об интеллигенции и интеллигентности.

Наверное, лучше не скажешь. Всё верно: интеллигенция реальна именно «в качестве конкретно-исторической группы». И дореволюционная, и советская, и постсоветская, «либерально-демократическая». Всё это – объединения по внешнему признаку. То есть, по слову Шукшина, надевание пресловутой «шляпы»: имидж, игра на публику. Интеллигенция к интеллигентности имеет такое же отношение, как телесериалы к настоящей жизни: вроде бы «идентичны натуральному» миру, но даже самые заядлые телеманы их никак не соотносят с реальностью.

Настоящих интеллигентов в среде многомиллионной интеллигенции всегда было мало, они исчислялись единицами. Как настоящие таланты. Шукшин и сказал об этом прямо: быть интеллигентом – талант. Редкостный, мучительный, который не передают по наследству, как дворянский титул (он остерегался эффектной фразы «аристократы духа»), но добывают ежедневным трудом, в непрестанной борьбе с самим собой.

Неизбывное глубинно-народное уважение к истинным интеллигентам поначалу привело Шукшина на распутье, где он, скрывая растерянность, озирался, чувствуя себя «ни деревенским, ни городским». Но дорога, которую он выбрал – и которая выбрала его, – это путь от человека к Человеку.

Что до подмены, подделки под интеллигента – хоть в городе, хоть на селе – она приводила Шукшина в ярость. «Нет зазнавитее человека, чем свой деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идёт, она же никого не видит! Какого бы она малого росточка не была, а всё норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не унизить…» – невесёлые размышления Алёши Бесконвойного прямиком выводят на Глеба Капустина. Этот хоть и не числит себя интеллигентом, но уж приезжим землякам, «вышедшим в люди», спуску не даёт. И сам объясняет мужикам свою особенность: «Не задирайся выше ватерлинии… Выезжаете в народ, будьте немного собранней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дурачках очутиться».

Почему этот правдолюбец, «начитанный и ехидный» демагог-недоучка, не только не смешон, а порой и страшен? Не в том же дело, что одного дурака двести академиков не переспорят. Да и не дурак он, Глеб. Набросок в

рабочей тетради Шукшина подтверждает это: «Земляки с уважением и ужасом слушают идиота, который, впрочем, не такой уж идиот». Капустин понимает, что выиграть можно, играя не по правилам. Например, шахматными фигурами в шашки: раз-раз и в дамках. Пока шахматисты обескуражено разводят руками, непосвящённая публика бьёт в ладоши: наша взяла! И весь этот рассказ воспринимался бы анекдотом, но… опять в финале в авторскую интонацию вплетается другой голос. И не один, а целый хор, как в древнегреческой трагедии, когда реплики сменяют друг друга:

– В голосе мужиков слышалась как бы жалость к кандидатам, сочувствие.

– Глеб же Капустин по-прежнему неизменно удивлял.

– Изумлял.

– Восхищал даже.

– Хоть любви, положим, тут не было.

– Нет, не было.

И вот голоса сливаются, звуча в унисон:

– Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил ещё.

Но если жестокость и несправедливость никто не любит, то почему Сёмка Рысь («Мастер»), обегав все инстанции, не может найти поддержки, чтобы восстановить красавицу-церковь, а Шурыгин («Крепкий мужик») крушит церковные своды запросто, никого не слушая и не спрашивая? Почему нет управы на свояка Сергея Сергеича, словно нечистая сила, «вспрыгнувшего на холку» герою одноименного рассказа? Ведь получил свояк отпор поначалу, а вот же… оседлал и вернулся к привычному наглому тону. Что происходит?

Почему тройка-Русь везёт Чичикова?..

Вспоминается диспут на канале «Культура». Тема, если не ошибаюсь, носила название «Талантам надо всё прощать». Мол, писатель, художник – человек особенный, призванный свыше, ему доступно то, что простым смертным не понять, а значит – они должны отступиться от него со своими «маленькими нормами». Кто-то из представителей творческой интеллигенции процитировал Пушкина: «Ты сам – свой высший суд».

Цитата, предположим, к месту. Но едва ли кто из участников диспута задумался, насколько безжалостна по своей сути эта формула. Ибо никакой суд «черни» не идёт в сравнение с судом совести. Если, конечно, она имеет над художником такую власть, как над Пушкиным и Гоголем, Толстым и Чеховым. И Шукшиным.

А нет её – и летит на птице-тройке Чичиков, засевая многотерпеливые русские просторы литературными и прочими шоу-проектами.

А что? Небесталанный был человек.

Кляуза

Строить и осмыслять себя через своих любимых героев – это ещё понятно. А как быть с антагонистами? Такими вот крепкими мужиками, продавцами, свояками, вахтёрами? В одном из последних своих рассказов Шукшин перечислил их снова: «Боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла… псих с длинными руками, узколобый».

Борис Стругацкий в романе «Бессильные мира сего», созданном в разгар перестройки, словно подхватывает эту фразу с полуслова: «Ничего не изменится, пока мы не научимся как-то поступать с волосатой, мрачной, наглой, ленивой и хитрой обезьяной, которая сидит внутри каждого из нас». Потому что эта, внутренняя обезьяна – страшнее. Потому что, продолжая мысль Стругацкого, «ВОСПИТАННЫЕ никому не нужны». Впрочем, все и так довольны, а если есть немногие недовольные – они ничего не могут изменить. Даже если отдадут себя в жертву.

Всё это понимал Шукшин. И про «обезьяну внутри», синоним чеховского раба, на борьбу с которым всей жизни не хватит, он тоже знал. Но всё же случился, произошёл перелом в его взглядах на человека и окружающий мир. Когда?

В названии «Я пришёл дать вам волю» кроется изначальная обречённость освободительного порыва Стеньки Разина. Волю не дают и не берут. До неё – дорастают. Каждый в своё время. В одиночку. Ведь рабы не знают, что с волей делать – хоть дарованной, хоть завоёванной. Пока душа – «лохматая горилла», её сил хватит только на то, чтобы пробить тюремную стену и – убедиться, что оказалась в соседней камере. Ни подвиги героев, ни молитвы святых ничего не изменят. Каждый человек освобождается из цепкой обезьяньей хватки сам, не озираясь в поисках виноватых и обязанных ему помочь.

С детства внушали нам, что «свобода – это осознанная необходимость». Но сознание необходимости того, что ты делаешь – это не свободный выбор. Это просто отсутствие выбора. Свобода, видимо, начинается тогда, когда при невозможности изменить жизнь внешнюю обостряется необходимость перемены внутренней. Когда над тобой, сокровенным, *бесконвойным* («конвоем» сперва называли вооружённое сопровождение мирных торговых караванов, и слово это означало защиту и покровительство, однако вскоре оно обрело карательный оттенок: караул, предупреждающий побег арестантов) никто не властен – ни деньги, ни сила, ни мнение окружающих. Когда негромкий голос сердца произносит: «Теперь иди сам. Ты – парень крепкий…»

Два «вечных» русских вопроса будоражат умы соотечественников уже почти два столетия: кто виноват и что делать? Но шукшинское «Что с нами происходит?», если вдуматься, отвечает на первый вопрос и… на второй тоже. Если всё дело в нас, то и начинать надо с себя. А как иначе?

Что произошло с Шукшиным? Почему родилась «Кляуза»? Почему вопрос «Что с нами происходит»? – заставляет вспомнить отчаянный вскрик Раскольникова: «Я же не старуху убил, я себя убил!».

«По существу, он писал непрерывную автобиографию своей души и мысли, – проницательно заметил В. Курбатов. – ***Он пустил жизнь в себя, и она взялась в нём за жаркое переосмысление…»***.

С Ванькой Тепляшиным всё было ясно: сначала он обиделся и вступился за мать, потом – плюнул и ушёл из больницы, где мать обидели. А если обижают тебя, автора? И ты со своими двумя институтами, став на один уровень с неграмотной вахтёршей, серьёзно ненавидишь её – так, что даже лица не можешь запомнить. Или – не хочешь запоминать. Зачем? Кто она такая? Эта… та… ОНА ещё и пишет! ДОКУМЕНТ!! А ты узнаёшь об этом от врача, который предлагает написать объяснительную.

«Я сказал дрожащим голосом: «Конечно, напишу. Я напишу-у!»

Протяжное это «у-у!» – стоит целой главы романа.

А дальше – грамотно и по существу, с дозированным употреблением иностранных слов, которые ОНА, конечно же, не знает («инцидент»», к примеру), излагается суть дела: женщина-вахтёр не пускала жену с детьми в больницу, умудренный народ советовал дать ей деньги, но вопрос решился иначе: жена пошла к дежурному врачу и обо всём договорилась. Вахтёршу «поставили на место». Ей это очень не понравилось.

Вы понимаете, что происходит? Автор – человек, писатель, актёр – во всех трёх ипостасях включён в действо. Писатель – пишет ДОКУМЕНТ, который не чета ЕЁ писанине. Актёр делает «фигуру полной беспомощности» и выражает на лице огорчение, чувствуя безусловную поддержку и сочувствие окружающих. Человек – торжествует, хотя сердце ему и подсказывает, что ЕЁ победить невозможно. А почему невозможно-то?

Потому что он ей сказал: «Ты же не человек». Как это вырвалось? Кому стало хуже – ей? Или всё же ему? **«Показалось, что я чуть не опрокинул её этими словами. Мне самому сделалось страшно».**

Ему, профессиональному писателю, да не знать энергетику слова!

«Не могу себе доказать, что это мелочь. Рука трясётся, душа трясётся, думаю: «Да отчего же такая сознательная в нас осмысленная злость-то? Жить же противно… когда мы такие».

Первый акт завершён. Вечером того же дня начинается второй, где вахтёрша берёт реванш. Писателей, приехавших проведать Шукшина, которым загодя выписан пропуск, она не пускает, «с удовольствием, гордо, презрительно заявляя: «Пропуск здесь – я». Прямо Король-Солнце в юбке, точней – в халате больничного персонала. Но комизм ситуации напрочь смыт неловкой и беспомощной суетой немолодых людей, уважаемых, известных всей стране, которые не будут же прорываться в больницу силой. ОНА в своей стихии, а они играют на её поле и по её правилам: кричат, машут руками, возмущаются…

И вот он, кульминационный момент: писатели уходят ловить такси, Шукшин собирается ехать с ними, ОНА не верит, что он уедет. И смотрит презрительно на него, а он – на НЕЁ. И снова… не видит лица.

«Может, у НЕЙ драма была в жизни, может ЕЙ много раз заявляли так же: возьму и сделаю!.. А не делали, и она обиделась на веки вечные… только ОНА как-то особо меня ненавидела за это трепаческое заявление – что я уеду».

Но ведь он, в самом деле, уехал – с пневмонией, по морозу, в тапочках, без шапки… Так почему, поставив точку в объяснительной записке, он думает: **«Кляуза вообще-то…»** И только потом прикладывает ДОКУМЕНТ, написанный своими друзьями-писателями.

Всё сделано по правилам. Откуда тогда этот вопрос**:**

«Что с нами происходит?»

Читателей он повергает в недоумение. Хамство и вымогательство должно быть наказано. Какие могут быть проблемы?

А они в том, что Шукшин менее всего озабочен бичеванием пороков. Он же не *над* своими героями, он – среди них. Всю жизнь он мучительно вглядывается в этих свояков, крепких мужиков, продавщиц, вахтёров… Понимая, что все они, а не только милые сердцу чудики – его зеркало, суть его самого. Что, легко, увы, встать на одну с ними доску, принять ИХ правила игры. И немыслимо трудно – по капле выдавливать из себя эти правила, древние, как род человеческий: око за око, зуб за зуб… Ведь в «Кляузе» мгновенно срабатывает закон отражения: ты пренебрёг – тебя унизили. Ты не увидел ЕЁ лица, но и СВОЁ лицо ты в тот момент тоже не видел. А если б увидел – не ужаснулся бы сходству с НЕЮ?

Нет, это не интеллигентское рефлексирование. Простая констатация эволюционного факта: душа человека доросла до осознания своей вины перед виноватыми.

Читать «Кляузу» больно. Ещё бы: апофеоз абсурда, доведённый до разрыва сердца: человек кругом прав, а душа болит и подсказывает название написанному *документу*. Подсознательный спор читателя с текстом не менее яростен, чем спор героя рассказа с самим собой. «Да какая же это кляуза, – кричит сердце, – когда она, вахтёрша, первой начала, когда и лица-то её за непонятной ненавистью рассмотреть невозможно…». «Но речь-то идёт не о НЕЙ, – тихо отрезвляет «думка»-разум. – Это ЕМУ надо, пересилив себя, разглядеть ЕЁ правду».

Лев Аннинский, подробно разбирая рассказ, приходит к выводу, подчёркивающему уникальность всего творческого и духовного пути Шукшина: ***«…Это именно попытка понять душу искажённую, пробудить доброе в злом, понять неправого. Попытка через свой жизненный, социальный опыт полугорожанина-полукрестьянина выйти***

к всеобщей нравственной истине, причём, не скрадывая, не облегчая задачи. А именно через тяжкий опыт: выстрадать добро».

Отсюда – невозможность абстрагироваться от людей, столь далёких от автора по развитию и по образу жизни. Разделённых с писателем огромностью пройденного им духовного пути: ведь по сути, Шукшин – человек уже другого времени, который сознаёт, что «если кто погубит мир – так это невиноватые, кто сам не кается, а других к этому понуждает».

А что же тогда этот мир спасёт? На вопрос отвечает Андрей Тарковский в фильме «Солярис»: «Стыд – вот чувство, которое спасёт человечество». Спустя месяц после публикации «Кляузы» знаменитый режиссёр элитного кино над гробом Шукшина тихо скажет: «Он был первым среди нас».

Тяжеленный это крест – в собственную душу вглядываться. Оттого так горько завершает свою фразу, процитированную выше, Валентин Курбатов: *«Он пустил жизнь «в себя», и она взялась в нём за жаркое переосмысление,* ***пока не разорвала его».*** Приведённый им факт потрясает: в 45 лет сердце Шукшина было изношено, словно у 80-летнего…

Почему Василию Шукшину, крестьянскому сыну, так важна была ***истинная*** интеллигентность?

Потому что другого способа сберечь и вырастить душу он не видел. И другого способа спасти Россию – тоже. Наверное, был прав. И хотя настоящих интеллигентов не может быть много по определению, пока они есть – остаётся спасительный озоновый слой духовности над безумствующей планетой людей. Над миром, который сам не сознаёт, насколько нуждается в человеке ВОСПИТАННОМ.

Прислушаемся к Валентину Распутину: *«Если бы потребовалось явить портрет россиянина по духу и лику для какого-то свидетельствования на всемирном сходе, где только по одному человеку решили судить о характере народа… многие сошлись бы, что таким человеком должен быть он – Шукшин».*

Как это созвучно словам Гоголя о Пушкине, русском человеке, *«в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет»…* В массовом порядке, увы, не явится. Потому что, напомним, Человек во все времена – «талант редкий и мучительный». Это собирательный образ интеллигента, созданный народом и воплощённый, увековеченный Шукшиным: **«Умный человек. Уважительный. Не мот, не пропойца. Чистоплотный. Не трепач. Не охальник. Работник. Мастер».**

Человек, душа которого доросла до свободы от всех конвоев, защищающих и стерегущих.

Мучительный талант духовного самостроительства никогда ещё не был оценён при жизни. И только годы спустя, когда душа вдруг потребует перечитать всё, Шукшиным написанное, понимаешь Васёку, у которого перехватывало горло от любви и горя…